

человек загадка

Ольга
ЕЛИСЕЕВА

ПРАВДА
И МИФЫ
О ГРОЗНОМ
ВЛАСТИТЕЛЕ
III ОТДЕЛЕНИЯ



БЕНКЕНДОРФ

Ольга Игоревна Елисеева
Бенкендорф. Правда и мифы о
грозном властителе III отделения
Серия «Человек-загадка»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14653478

Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отделения: Вече; Москва; 2014

ISBN 978-5-4444-2398-1, 978-5-4444-8335-0

Аннотация

Наши современники хорошо усвоили со школьной скамьи, что Бенкендорф был для Пушкина «злой мачехой», нерадивой нянькой. Зададимся вопросом: а кем Пушкин был для Бенкендорфа? Скрещение биографии Бенкендорфа с биографией Пушкина – удобный случай рассказать о шефе жандармов больше, чем принято. И не только о нем. За плечами Александра Христофоровича вырастает целый мир, встают события и люди, которые как будто не играют в жизни поэта особой роли или значатся «недругами». Читателю полезно узнать, что коловращение вокруг поэта было далеко не единственным и даже не центральным в тогдашней русской вселенной. Полезно увидеть и человека иного – служилого – мира, который в тот момент господствовал в России. И услышать его правду.

Содержание

Вступление. «Недвижный страж дремал...»	5
Глава 1. «Государь хотел...»	8
«Гибельная война»	9
Комендант	13
«Развратное поведение»	17
«Узы ложной дружбы»	20
«Воды Флегетона»	22
«Лучше бы людям не родиться»	25
Персы	27
«Надо бы спрыснуть!»	29
«Как я боялся, как бежал»	31
Глава 2. «Самозванец»	34
Давши слово, крепись	36
«Когда воображаю...»	38
«Какая разница?»	40
«Черная туча»	43
«Воля высшего начальства»	45
«Венец за ним!»	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Ольга Елисеева

Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отделения

© Елисеева О.И., 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

* * *

*Моим друзьям Елене и Максиму Плаксам в память о поездке в
Крым 2014 года*

Вступление. «Недвижный страж дремал...»

*Что за желанье? что за страсть?
Идти в подвал уединенный,
Встревожить мертвых сон почтенный
И одного из них украсть!*

*А. С. Пушкин.
Послание Дельвигу. 1827 г.*

То, что случилось, – случилось. Лучшего поэта России «не уберегли». Теперь следовало жить дальше.

Император уже выругался: «Зачем нужна тайная полиция, если она...» Добрейший Василий Андреевич Жуковский написал свое гневное обвинение: «Государь хотел... а Вы...»

Бенкендорф, как обычно, промолчал. Он вообще предпочитал молчать – не значит не имел своего мнения.

Публика пошумела и забыла: современники относились к Пушкину далеко не так трепетно, как потомки.

Но был еще высший Судия, перед Которым предстояло отвечать за «не уберегли».

Уже догадываются, что пожар Зимнего дворца в ночь с 17 на 18 декабря 1837 г. был своего рода расплатой. К ней следовало бы присоединить болезнь, постигшую шефа жандармов в первых числах марта. За несколько лет до описанных событий, сразу после возвращения императора из-за границы, во время смотра, Бенкендорф вылетел из седла. Над ним пронеслась вся кавалькада кирасир, и если бы он не «родился в рубашке», как часто говорил государь, ушибами дело бы не ограничилось. Тогда сплетничали, что роковое событие предвещает падение при дворе. Ошиблись.

Но вот в 1837 г. болезнь от переутомления настигла Александра Христофоровича. После заседания Государственного совета он лег дома на диван, задумался о том, что уже лет тридцать не был в отпуске, и не смог подняться.

Справляться о его здоровье пришли толпы очень бедных просителей, дела которых Корпус жандармов решил безденежно¹. «Я имел счастье заживо услышать похвальное надгробное слово... – не без иронии вспоминал Бенкендорф. – При той должности, которую я занимал, это служило, конечно, самым блестящим отчетом за 11-летнее мое управление, и думаю, что я был едва ли не первый из всех начальников тайной полиции, которого смерти страшились и которого не преследовали на краю гроба ни одною жалобою... Двое из моих товарищей, стоявшие на высших ступенях службы и никогда не скрывавшие ненависти своей к моему месту (министры юстиции и внутренних дел Д. Н. Блудов и Д. В. Дашков. – О. Е.), к которой, быть может, немного примешивалась и зависть, к моему значению у престола, оба сказали мне, что кладут оружие перед этим единодушным сочувствием публики».

Однако, хотя Александр Христофорович и выздоровел, к активной государственной деятельности он не вернулся. Прерываются и его записки, в которых, кстати, о Пушкине нет ни слова. Обычно Бенкендорф либо говорил о людях хорошо, либо не давал характеристик. В данном случае молчание красноречиво. Хорошего он сказать не мог.

¹ Нашим современникам по книгам памятли толпы у квартиры раненого А. С. Пушкина на Мойке. В марте у дома А. Х. Бенкендорфа на Малой Морской картина повторилась.

Николай I сохранял за другом прежние должности, отправлял на воды. А когда в 1844 г. тот скончался, сам попросил священника вставить в речь несколько слов о роковом годе: государь потерял дочь и старого друга. Слова: «Он ни с кем меня не поссорил и со многими примирил» – лучшая похвала главе тайной полиции в устах такого строгого монарха, как Николай I.

По многим оговоркам в письмах Пушкина видно, что и с ним государя «примиряли», по крайней мере не ссорили.

У Настоящего нет другого способа познания Прошлого, кроме как «размывая» то одно, то другое «окно», замазанное побелкой времени. Такими окнами в отношении XIX в. были война 1812 года, движение декабристов, Пушкиниана. Собранные знания перекрещивались, вступая то в концерт, то в резонанс друг с другом. Переполюя авторские «корзины», они взрывали собой концепции. Заставляли создавать новые, которые, впрочем, тоже в свой срок отходили в тень.

Нечто похожее творится сейчас с Николаевской эпохой – временем русского ампира, абсолютного, но тревожного могущества – «гордого доверия» – апогея империи. Изменение восприятия происходит главным образом благодаря введению в научный оборот ранее неизвестных источников – писем, дневников, мемуарных свидетельств, законодательных актов, массовых документов. Не стоит сбрасывать со счетов и возрастное изменение культуры – мы старше, а следовательно, снисходительнее. Кроме того, играет роль удаление от объекта – большое видится на расстоянии. Тот факт, что за плечами у наших современников период тоталитарного отказа от части знаний о Прошлом, тоже добавляет прочитанному новизны.

Долгие годы схема «душителее» «прекрасных порывов», с одной стороны, и благородных жертв «самовластья» – с другой, оставалась единственно возможной. Император Николай I благодаря традиции, заложенной еще академиком Е. В. Тарле и развитой его учениками, воспринимался как человек «непреходимо невежественный», что, мягко говоря, не соответствовало истине. Или как «палач холодный». А его окружение – как «сатрапы» без чести и дарований. Для закрепления этой картины было потрачено множество, в том числе и художественных, средств.

Между тем деятели той эпохи – А. Х. Бенкендорф, И. Ф. Пасквич, А. И. Чернышев, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселев, М. С. Воронцов – люди, более чем заслуживающие интереса, а часто и благодарности потомков.

Открывающаяся реальность ярче и богаче привычной схемы. Приведем один пример. До наших дней сохранился исторический анекдот:

«Жена одного важного генерала, знаменитого придворной ловкостью, любила, как и сам генерал, как и льстецы, выдавать его за героя, тем более что ему удалось в компанию 14-го года с партией казаков... занять никем не защищенный немецкий городок... Жена, заехав с визитом к другой даме, рассказывала эпопею подвигов своего Александра Ивановича [Чернышева]... и, на беду, забыла название: как бишь этот город, вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город...» Один из гостей, слушавших краем уха и решивших, что речь об Александре Македонском, подсказал бедняжке: «Вавилон».

Весьма забавно. Особенно если учесть, как любил хвастаться Чернышев: «Александр разбил того; Александр удержал грудью целую артиллерию... из пленных выходила армия больше наполеоновской 12-го года». Но никем «не защищаемый» «столичный» «немецкий городок» назывался Берлином.

Если принять это к сведению, картина меняется. Обретает дополнительные краски. Да, Чернышев был бахвалом, каких свет не видывал. А кроме того, человеком тяжелым, грубым и трудно переносимым в общении. Но не только им. Ему, например, Россия обязана планом наполеоновского нашествия, который он украл в Париже накануне войны. И самым успешным партизанским рейдом по тылам французской армии.

Позднее, в роли военного министра, он сделал чрезвычайно много, поскольку умел так работать, был исключительно чист на руку и служил не за страх, а за совесть.

Позволить этим сведениями усложнить старую картину – значит позволить Прошлому предстать перед нами во всей своей противоречивости. И тогда ничего легкого, ничего в стиле «да вот же как надо было сделать» не останется.

Вместо бледных теней, скользящих по страницам книг, мы увидим человеческие фигуры во плоти и крови. А с ними – с живыми – куда как непросто разбираться.

Бенкендорф – одна из таких фигур. Нашим современникам он известен главным образом благодаря биографиям Пушкина. Донельзя отягощенным мифами о поэте, как его собственного сочинения, так и позднейшими. Для целых поколений Александр Христофорович стал гонителем гения, едва ли не повинным в его смерти. Прошлая жизнь шефа жандармов обрубалась, точно он рождался в тот день и час, когда его путь пересекался с дорогой Пушкина. Бенкендорф возникал из небытия «одним из петербургских немцев», а не героем войны, не командиром авангарда общевойскового партизанского отряда, не первым комендантом послепожарной Москвы, не освободителем Голландии...

Потом мелькало упоминание об его участии в следствии над декабристами, что окончательно губило репутацию Александра Христофоровича. Между тем ни декабристы не были безусловными героями, ни те, кто им противостоял, – безусловными злодеями. По обе стороны следственного стола встречались порядочные люди, по обе – карьеристы, думавшие только о личном продвижении. Бенкендорф к последним не принадлежал.

Не так давно картина начала меняться. Изданы мемуары Александра Христофоровича². Появилась его биография³, а также серьезные работы о деятельности III отделения⁴, не сводящие ее к надзору за прогрессивными литераторами. Одновременно пришло осознание, что император покровительствовал Пушкину, помогал семье, платил долги, а вовсе не пытался избавиться от поэта, униженного чином камер-юнкера.

Но ни одна история не обходится без злодея. Если Николай I не мучил гения, то кто тогда виноват в болезненном для гордого и щепетильного Пушкина надзоре? Кто в роковой день дуэли послал жандармов «не туда»? Кто был равнодушен к славе русской литературы и не берег ее «первую любовь»? Словом, «жалует царь...». «Псарь» же удобен для того, чтобы бросать в него камнями.

Справедливо ли? Попробуем разобраться.

Скрещение биографии Бенкендорфа с биографией Пушкина – удобный случай рассказать о шефе жандармов больше, чем принято. И не только о нем. За плечами Александра Христофоровича вырастает целый мир, встают события и люди, которые как будто не играют в жизни поэта особой роли или значатся «недругами». Все они сильно удивились бы, узнай о сегодняшней атрибуции. В их собственной жизни Пушкин занимал весьма немного места.

Читателю полезно узнать, что коловращение вокруг поэта было далеко не единственным и даже не центральным в тогдашней русской вселенной. Полезно увидеть человека иного – служилого – мира, который в тот момент господствовал в России. И услышать *его правду*. Возможно, она не покажется такой уж непонятной.

² Бенкендорф А. Х. Воспоминания 1802–1837. М.: Рос. фонд культуры, 2012.

³ Олейников Д. И. Бенкендорф. М.: Молодая гвардия, 2009.

⁴ Чукарев А. Г. Тайная полиция России (1825–1855). М., 2005.; Бибилов Г. Н. А. Х. Бенкендорф и внутренняя политика Николая I: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.: МГУ, 2009.

Глава 1. «Государь хотел...»

Когда посреди коронационных праздников 1826 г. Александр Христофорович Бенкендорф услышал, что император намерен вернуть Пушкина из ссылки, он вряд ли удивился. Хотя на его столе уже лежали донесения литератора С. И. Висковатова о «буйном» поведении титулярного советника, находившегося в Псковской губернии под надзором. А кроме того, носились слухи о каких-то стихах на «14 декабря»...

Но Бенкендорф служил давно, видел всякое и принимал жизнь такой, какая есть: это экономило время. Бумаги следовало не порвать, а придержать. Только и всего.

«Гибельная война»

В тот момент Александра Христофоровича занимали философские мысли. «Вот уже во второй раз за 25 лет я присутствовал в Москве на церемонии коронации, – писал он. – Двадцать пять лет назад я был здесь совсем молодым, только вступившим в мир человеком. Во второй раз я наблюдал все это в возрасте 45 лет, познав все удовольствия и все тяготы активной службы. В первый раз я был мальчиком, во второй я был мужем и отцом семейства».

Шеф жандармов говорил о коронации Александра I, которую увидел 20-летним юношей, полным надежд, как и все окружавшие молодого государя. Вся первая половина его жизни прошла при «покойном Ангеле», он испытал и взлеты, и немилости...

Ему довелось видеть Первопрестольную не только нарядной. Но и полной раненых, при отступлении в 1812 г., когда «казалось, Бог оставил, а дьявол торжествует». Тогда утешало одно: «Французская армия вступала в ад и не могла пользоваться средствами Москвы... Неприятель был вынужден отыскивать для себя продовольствие в окрестностях столицы. Он внес всюду беспорядок и грабеж и уничтожил сам то, что могло облегчить его пропитание. Скоро окрестные города представляли пустыню. Приходилось искать дальше, разделяться на мелкие отряды, и тогда-то началась для французов та гибельная война, которую казаки вели с таким искусством».



А. Х. Бенкендорф. Художник Дж. Доу

Наконец, сразу после ухода французов партизанский отряд Бенкендорфа – авангард Летучего корпуса – вошел с боями в старую столицу. А столицы-то и не было.

Накануне Александр Христофорович трое суток получал известия, что неприятель по чайной ложке, словно цедя кровь из раны, выпускал из города части. Вдруг около трех со стороны древней столицы раздался исключительно громкий взрыв. На воздух взлетел Арсенал.

11 октября Бенкендорф поднял авангард, и ворчливые спросонья донские казаки поспешили к Тверской заставе. Ожидалось, что наскок встретит корпус принца Евгения Богарне, но тот уже ушел на Калугу, а его место заняла уланская бригада. Поляки. «Нация сколь героическая, столь и несчастная». Что за судьба? Всегда присоединяться к врагам России. И первыми получать сдачи? Хоть в наступлении, хоть при отходе. Наполеон прикрывался ими, пока последние обозы не выбрались из города.

Авангард Бенкендорфа опрокинул в улицы три вражеских полка и взял 400 пленных. В душе Александр Христофорович не одобрял поспешного вступления в город. Дело летучего отряда – наскочил, отпрыгнул. Бенкендорф давно это знал и, положив руку на сердце, не стал бы приписывать своим лапотникам геройств. «Партизан рыщет где может» и всегда находит способ не попасть впросак. А потому нет ни тех опасностей, ни тех побед, что в реляциях. Зато «дуван» татарам на зависть.

Какой «дуван» мог быть под Петровским дворцом, где напоследок квартировал Наполеон? Огромное поле, загаженное, истоптанное и покрытое дохлыми, вспучившимися лошадьми. Даже чаявшие поживиться остатками французской роскоши крестьяне из соседних сел здесь не бродили.

Город почти весь выгорел и осел, словно под его кожей тлея лихорадка. Изредка встречавшиеся дома походили на решето: сквозь их черные щербатые стены можно было наблюдать улицу.

У застав, отступая, застряли хвосты французских обозов, полных добра – не раненых. Последних большей частью бросили, и они, как всего месяц назад русские, вели беспорядочную, отчаянную стрельбу из окон уцелевших домов, из подвалов, из-за опрокинутых телег.

Узнав об уходе неприятеля, в город стекались толпы окрестных мужиков – рыться на пепелищах, искать годные в хозяйстве вещи. День назад целые семейства евреев осаждали французских солдат, меняя все на все. Теперь они открывали тары-бары с казаками, предлагая то же самое, но дороже.

Отряд с трудом прокладывал дорогу через груды трупов и конской падали. С Тверского вала через пепелище, утыканное печными трубами, были хорошо видны Калужские ворота.

Из-под застрех полез воровской люд, который генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин перед самым уходом выпустил из тюрем, полагая разбоем усилить хаос в оставленной столице. Ловил ли их Бонапарт – неясно. Но Бенкендорфу предстояло.

Стены Кремля обрушились от подрывов в пяти местах. Невесть откуда взявшаяся толпа перла прямо на французские подкопы, в которых лежали еще не разорвавшиеся бочки с порохом. Люди подались к Спасским воротам. Оказалось, они забаррикадированы изнутри. Никольские были напрочь завалены здоровенными кусками башни и Арсенала. Кто бы мог подумать, что свой город придется штурмовать, карабкаясь по стенам!

Но что больше всего поразило Бенкендорфа – куча сограждан, пытавшихся прорваться в Кремль и чаявших там поживы. Требование генерал-майора разойтись не возымело действия. Пришлось теснить толпу казаками.

Те взялись за нагайки. Потребовались дружные усилия полка, чтобы разогнать ворье. Александр Христофорович расставил караулы у проломов, а сам последовал дальше. К Соборной площади. Его люди пополам с оставшимися казаками метались по всему Кремлю, ловя французских поджигателей. Бочки с порохом обнаружили под соборами, Спасской башней, Оружейной палатой и колокольной Ивана Великого, которую один раз уже взрывали. От нее оторвало пристройку со звонницами. Но сам каменный перст только покачнулся.

Соборная площадь имела вид брошенного цеха под открытым небом. Повсюду стояли горны, в которых переливали оклады икон и захваченную утварь.

В Архангельском храме держали винный склад. Весь пол был в мадере. Под сводами Успенского, вместо паникадила, покачивались огромные весы. На царских воротах отмечали прибыток 325 пудов серебра, 18 пудов золота. Красноречиво.

Но еще прежде, чем Бенкендорф увидел все это, ему в нос ударил тяжелый ядреный запах. Ни то стойло, ни то нужник, ни то... трупы тоже имелись.

Мощи святых были выброшены из гробниц и изрублены. Каменные саркофаги наполнены нечистотами. Образа перепачканы и расколоты, алтарь опрокинут. При каждом шаге подошвы с клейким всхлипом отдирались от плит, на которых засохло вино.

Бенкендорф наложил свою печать на кованые высоченные двери соборов. Никто не должен видеть. Пока монахи не приберутся. Распорядился не пускать народ. Самая горячая вера может поколебаться при встрече с поруганной святыней.

Комендант

Именно проворству его партизанского отряда Москва была обязана тем простым фактом, что Кремль не успели взорвать. Но ни тогда, ни во время нынешней коронации Бенкендорф об этом не думал. Как никогда не вспоминал о Саввино-Сторожевском дефиле у Звенигорода. Даже в мемуарах писал о том, что делали другие – те, кто служил под его командой. Выходило: если читатель подумает, сразу поймет, чья была военная операция. А если не подумает? И так двести лет.

При отступлении его отряд – три тысячи казаков – шесть часов держал переправу у Звенигорода... Русские Фермопилы. Бенкендорф почти ничего не помнил. Целые дни, пока отступали, дрались. Шесть часов, двенадцать? Трудно вычленишь один момент. Когда война кончилась, оставшиеся в живых мерились геройствами. Оказалось, Летучий корпус, перекрыв дорогу двадцати тысячам принца Евгения Богарне, дал остальной армии отойти. Все должны кланяться. Но у каждого своих подвигов хватало.

Легче забыть. Тем более что память у Александра Христофоровича в отца пошаливала, и достойнее было не приписывать себе лишнего... Не приписал и половины.

Но вот коменданство в разоренной Москве он помнил твердо. Недаром тогда же писал другу Михайле Воронцову: «Люди убивали друг друга прямо на улицах, поджигали дома... Все разоружены и накормлены».

Чем кормят города, оставшиеся без запасов? Подмосковные мужички – «самые сметливые, но зато и самые развратные во всей империи» – притащились с целыми обозами торговать. Для неприятеля хлеба у них не было, попрятали. Пытай – не скажут где. А тут по всему городу образовывались ярмарки.

Донцы рассыпались по улицам искать импровизированные торжки и везде объявить приказ коменданта: хлеб по довоенной цене. Третью мешков сдавать. Без этого к продаже не допускать. У Бенкендорфа на руках раненые, сироты и по подвалам те, у кого нет даже медных денег.

Крутая мера должна была бы ожесточить поселян и на время развернуть их возы обратно от города. Ничуть не бывало. Народ долго придерживал товар и теперь отдавал хоть по довоенной цене. Покупатель потихоньку возвращался в столицу.

Другим благодеянием для человечества был арест всех, кто приехал с пустыми телегами – грабить. Их похватали гвардейские казаки и заставили вывозить с улиц мертвые тела, конскую падаль. Зарывать где-нибудь возле Марьиной рощи, не ближе.

Раненые французы, запершиеся в Новодевичьем монастыре, сдались мирно, когда узнали, что их накормят. А накануне обложились порохом и обещали перерезать всех русских, которых сами же испоместили у себя под боком. Да, да, многие из французов помогали вытаскивать русских раненых из горящих домов и приносили в монастырь. Теперь вчерашние хозяева столицы – солдаты Великой армии – были напуганы и взбешены. Их бросили. Хотя Наполеон издал приказ увозить больных, но маркитантки и даже полковые интенданты нагрузили телеги добром. Людей не взяли. Раненые готовы были стрелять. Но все обошлось. Несчастных перенесли в Странноприимный дом князей Голицыных напротив Нескучного сада.

Для Бенкендорфа война вообще не имела того возвышенного лица, которое ей приписывали поэты. Александр Христофорович много навидался в своем Летучем корпусе. Среди «толщи народной». Не все мог одобрить. Не со всем справиться. Но и скрывать не собирался.

«Мой лагерь походил на воровской притон, – писал генерал, – он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов войск и наций представляли странное соеди-

нение с бородами и крестьянской одеждой. Множество людей, занимавшихся темными делами, являлись беспрерывно торговать добычу. Постоянно встречались солдаты, офицеры, женщины и дети всех народов, соединившихся против нас... Было до крайности трудно спасать жизнь пленных – страшась жестокости крестьян, они являлись толпами и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Особенною жестокостью в этих ужасных сценах была необходимость делать вид, что их одобряешь, и хвалить то, что заставляло подыматься волосы дыбом».

Однако и на возражения захваченных в плен французов: русские-де ведут «неправильную войну», натравливают на противника мужиков с вилами, генерал знал, что ответить: «Вы врываетесь в их дома, оскверняете церкви, насикуете женщин и хотите, чтобы они не нападали на вас?»

Между тем сбивавшиеся в отряды крестьяне, вооруженные чем попало, вызывали тревогу в Северной столице. Не бунтуют ли? Бенкендорфу пришлось столкнуться и с этой точкой зрения. Ему, как командиру авангарда, пришел пакет из Комитета министров. По прочтении захотелось вытереть руки о мундир. Другого нет! Расследуют возмущение крестьян под Волоколамском в селе помещика Алябьева. Те отказали в повиновении приказчикам. Свели со двора всех лошадей. Говорили, что теперь они «не барские», а «французские».

Александру Христофоровичу вменялось в обязанность отловить и расстрелять зачинщиков. И разоружить остальных. То есть остаться глухим и слепым, не зная, что делают враги.

Бенкендорф пришел в благородное негодование. Даже кипение. Написал ответ: «Крестьяне, которых губернатор и иные власти именуют возмутителями, не имели и тени злого умысла. При появлении неприятеля их бросили и господа, и наглые приказчики, вместо того чтобы воспользоваться добрым намерением своих людей и вести их против врагов. Имеют подлость утверждать, будто поселяне именуют себя “французами”. Напротив, они избивают, где могут, неприятельские отряды, вооружаются отобранным оружием и охраняют свои очаги. Нет, не крестьян надо наказывать, а вот стоило бы сменить чиновников, которые не разделяют духа, царящего в народе. Я отвечаю за свои слова головой».

Он не мог «разоружить руки, которые сам вооружил!» А главное – своими глазами видел волоколамских крестьян. «Имя изменников принадлежит тем, кто в такую минуту осмеливается клеветать на самых усердных защитников Отечества».

Лет через двадцать Александр Христофорович нашел свое письмо, подшитое к «Журналу» Комитета. И страшно собой возгордился. Орел!

Но что говорить, народ у нас шалый. Теперь в оставленной противником Москве героические казачки тоже шалили. Расположившись на Тверской в богатом доме Белосельского, их командир генерал И. Д. Иловайский рассылал старшин с командами в рейды, откуда они приезжали груженными, как из неприятельских земель. На любой спрос следовал ответ – французские подводы. Отбиты и возвращены в столицу храбрыми донцами.

Однажды Бенкендорф попытался возразить и сразу понял границу своих полномочий: за Иловайским стояла реальная воинская сила, за ним же только приказ императора комендантствовать в погорелой столице – маловато по военному времени. Он посетил дом Белосельского и видел своего товарища-донца: прямо на полу перед «батькой» громоздились две кучи из окладов, чаш, потиров, цепей и прочей утвари. Являвшиеся поминутно казаки подносили ему узлы и плетеные короба, набитые драгоценностями. Иловайский разбирал: что поценнее, клал одесную себя, а что попроще – ошуюю.



П. В. Голенищев-Кутузов. Неизвестный художник

«Зачем этот дележ? Ведь все равно все следует отдать духовному начальству, как вещи ограбленные из церквей московских», – заявил Бенкендорф.

«Нельзя, батюшка, – хитро прищурился казак. – Я дал обет, что все, что побогаче, если Бог сподобит меня к занятию от вражьих рук Москвы, все ценное, доставшееся моим казакам, отправить в храм Божий на Дон, а данный завет надо свято исполнять».

Так выглядела освобожденная Москва без героических прикрас. Две недели Бенкендорф, как умел, наводил порядок. А хаоса становилось только больше вместе с возвращавшимися в город беженцами. Холода крепчали, жить людям было негде, есть надо. Посему Александр Христофорович несказанно обрадовался, когда в столицу прибыл граф

П. В. Голенищев-Кутузов, прежде генерал-полицмейстер Петербурга, а ныне уполномоченный государем новый комендант.

Тот радовался, что первые, самые страшные, дни в оставленном городе, когда от безвластия каждый кидается с ножом на каждого, уже пережиты. И пережиты не им. 23 октября Летучий корпус выступил навстречу ветру и крепчавшему морозу.

Думал ли тогда Бенкендорф дожить до конца войны? А до новой коронации?

«Развратное поведение»

Во всяком случае, не предполагал, что окажется ответственным за опального поэта, которого император намеревался вернуть.

Между тем Висковатов еще в феврале сообщал, что «известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям... и ныне при буйном и развратном поведении» Пушкин «открыто проповедует безбожие и неповиновение властям». Якобы при получении известия о кончине государя Александра Павловича он «изрыгнул» ругательство: «Наконец, не стало Тирана, да и оставший род его недолго жить останется».

Висковатов еще с 1811 г. служил в канцелярии министра полиции, но, сам был не чуждый сочинительству, мог просто ревновать к босоногой музе Пушкина. Откуда ему было знать, как круто изменятся правительственные намерения?

Сам Александр Христофорович больше доверял мартовскому донесению полковника И. П. Бибикова – своего родственника по супруге и падчерицам. Тот уже чувствовал новые ветры и был не склонен к строгостям.

«Выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? – рассуждал Бибиков о недовольных. – Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве, в таких пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях наводняют государство массой мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания».

Все так. Во время следствия более чем у половины арестованных нашли «куплеты» Пушкина. Да и сослан он был из столицы в Кишенев разве не за прославление «вольности»?

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу!
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу...

Так ли уж сильно это отличается от «тирана» по адресу покойного Александра I и уверений, что «род его недолго жить останется»?

Кажется, было еще явление Пушкина в театр с портретом Л.-П. Лувеля – убийцы герцога Беррийского, наследника французского престола. На слепой афишке красовалась надпись: «Урок царям», сделанная рукой самого «шалуна».

Была какая-то рождественская песенка и «куплеты» про ножик. Именно их в изобилии находили у арестованных по делу 14 декабря. Строки: «Ура! В Россию скачет кочующий деспот» – порадовать правительство не могли. Хотя до сих пор смешно, «послушавши, как царь-отец рассказывает сказки». Но вот от «Кинжала» любому «добромыслящему» подданному становилось не по себе:

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Те же мысли, что и в «Вольности». Грозить императору цареубийством «среди пиров», «на ложе сна, в семье родной». И это в России, где свежа память о гибели Петра III и Павла I! Императорская семья до сих пор каждый год собирается на тайную ночную литургию по убиенному отцу. Там только свои. Среди них Александр Христофорович, как воспитанник

вдовствующей императрицы, присутствовал не раз. Правду знают все и никто. Доподлинно. Как знал он. Из первых рук, вернее уст плакавшей августейшей покровительницы.

А потому прославлять Зандов и Лувелей просто неприлично: «И на торжественной могиле/ Горит без надписи кинжал». Известно, чье имя должно быть написано на оружии Немезиды.

Полагать, будто четырехлетняя ссылка может образумить вольнодумца, наивно. Она любого в состоянии только озлобить. Бибиков прав. И в доказательство своих слов полковник приводил «стихи, которые ходят даже в провинции»:

Паситесь, русские народы,
Для вас невнятен славы клич,
Не нужны вам дары свободы, —
Вас надо резать или стричь.

«Русские народы» в этом стихотворении перекликаются с народами остального мира, которые совсем недавно восставали, пережив новую волну европейских революций. Всего полтора года назад Пушкин написал «Недвижного стража...», в котором ясно выразил свои политические убеждения. Вчитаемся:

1

Недвижный страж дремал на царственном пороге,
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли, —

2

И делу своему владыка сам дивился.
Се благо, думал он, и взор его носился
От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От царскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы...

4

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа

Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?

5

Давно ль – и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь – где же Брут? О грозные витии
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу...

Дело не в том, что ко времени коронации лета 1826 г. поэт не изменил своих суждений. Напротив, они остались прежними. Когда в Михайловское дошло известие о смерти Александра I – «владыки севера», приготовившего всему миру в дар «тихую неволю», – Пушкин пришел в восхищение от своих пророчеств в «Андрее Шенье» и писал П. А. Плетневу, что велит напечатать элегию «церковными буквами» – ведь там говорилось о гибели «тирана».

Дело в том, что поэта решили вернуть из опалы какой есть. Озлобленного, резкого, крайне недружественного правительству и сильно замешанного в дело 14-го. Пусть только благодаря стихам и знакомствам.

«В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои», – с ужасом писал ему Жуковский. Принято считать, что «шалун» это хорошо понимал. Но еще в январе 1826 г. он писал П. А. Плетневу: «Верно, вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен... Не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение... Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные – других художеств за собой не знаю... Никак нельзя мне показаться в Петербурге, а?»

«Других художеств... не знаю». За полгода понял ошибку? 10 июля писал П. А. Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру».

Между тем письмо написано с расчетом на перлюстрацию. В нем уже намечена линия защиты: не все «возмутительные рукописи» принадлежали Пушкину, если бы его вызвали на допросы, он бы сумел это доказать...

Александр Сергеевич иногда пытался выстроить оправдания заочно. Примерно за год до смерти Александра I он в воображаемом разговоре с императором отстаивал свое право вернуться из ссылки. Точно так же в письме Николаю I 11 мая 1826 г. поэт говорил, что «с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моим мнением общественному порядку» «готов обязаться подпискою и честным словом». Вяземскому, который подсказал последние слова прошения, Пушкин писал: «Жду ответа, но плохо надеюсь».

Слишком многое тянуло к осужденным: «Еще-таки я надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».

«Узы ложной дружбы»

А разве у самого Александра Христофоровича не было знакомых по ту сторону следственного стола? Даже близких друзей?

В минувшую войну он много сделал для того, чтобы «дары свободы» больше не пересекали русской границы. Когда же 14 декабря эти «дары» обнаружились внутри отечества, сам дважды ходил с кавалергардами в конную атаку на ряды мятежников. А потом слушал покаянные речи в Следственном комитете...

Из 579 человек, прикосновенных к делу, 290 оказались оговорены. Их вернули домой в прежних чинах и с выплатой прогонов до Петербурга. Каждый мог похвастаться, что видел императора. Не вдалеке, на маневрах, а в тесной камере, лоб ко лбу. И говорил с ним, кто десять минут, а кто более часа. Станные то были беседы. Случалось, человек, совсем непричастный заговору, вываливал столько наболевшего, что молодой государь Николай Павлович потом плакал.

Однако полностью чистых не было: каждый что-то видел, что-то слышал, у кого-то гостил и даже мог ругнуть правительство. Эти-то слова, сорвавшиеся с губ от горечи, считались эмиссарами тайных обществ за согласие вступить в организацию. Человек ни сном ни духом сидел в гарнизоне, пил чай с коньяком, а в урочный час его хватали и везли в столицу. Состоял? Участвовал? Целовал крест на цареубийство?

Но степень виновности следовало различать. Были те, кто в военных Лещинских лагерях под Киевом после учений с пьяных глаз орали: «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» В чем трудно усмотреть измену. А были другие – подносившие крест и подказывавшие слова страшной клятвы. Утром просыпался «заговорщик». Где вчера был? Что обещал? На чем подписывался? Да как же меня угораздило? И жил имярек – прапорщик ли, полковник ли – согнувшись от страха. Шло время, он начинал забывать, и уже казалось – не дурной ли сон? Нет. Потянули за веревочку.

Без числа таких сидело, потупив глаза в пол, мычало невразумительные объяснения или твердило: не погубите, виноват, деток трое, жена-бесприданница... Что ж ты, голуба, раньше думал? Зачем хранил у себя «Кинжал» или «Ноэль»?

Было у этих людей право негодовать? О да! Как еще сам Александр Христофорович не попал в число негодующих? Спасла осторожность? Или молчаливость? Или, наконец, сознание долга? Тяни лямку. Не ропщи. Поправляй несправедливости, где можешь. Желай добра. Но мятеж... Явно не его стихия.

Он видел Париж при Бонапарте – ездил молодым в посольство – и сильно удивлялся, как могло случиться, что люди, вчера свергшие монархию, пролившие реки крови, сегодня с восторгом пресмыкались перед новой династией?

При известии об июльской революции 1830 г. во Франции генерал скажет императору: «В третий раз Бурбоны были свергнуты с престола, даже не покусившись защититься... Со времен смерти Людовика XIV французская нация, более развращенная, чем цивилизованная, опередила своих королей» и «тащила за собой на буксире решения слабых Бурбонов». Россию «от несчастий революции» предохраняет именно то, что «со времен Петра I именно наши государи тянули нацию в повозке... своей цивилизованности и своего прогресса».

Пятью годами ранее, в Москве, казалось, все подтверждало это мнение: люди благоговели перед особой монарха и, несмотря на многотысячные собрания, не обижали друг друга в его присутствии. «Такое поведение было бы сложно повторить европейским народам, которые считают себя цивилизованными... – писал Бенкендорф. – Именно то, что русский народ еще богобоязнен... является гарантией порядка и безопасности. Гарантией более

солидной и надежной, чем... кисельные берега народного суверенитета, равенства и всех шатких, слабых и кровавых догм французской революции».

Такое убеждение генерал вынес из четверти века войн, и в этом вопросе он крепко не сошелся с князем Волконским – с Бюхной – близким другом, ныне государственным преступником. Вместе партизанили. Вместе бродили по загаженным соборам Кремля. И вот, представьте себе, зрелище – Сергей Григорьевич в Следственном комитете!

После первой же встречи государь отказался иметь с Волконским дело, поскольку он «набитый дурак, лжец и подлец в полном смысле слова. Не отвечает ни на что! Стоит, как одурелый». Иными словами, его величество боялся накричать. А кроме того, жалел матушку арестанта.

Да, бедную обер-гофмейстерину стоило пожалеть! Подруга вдовствующей императрицы имела привычку вечно воспитывать царевичей. Однажды на террасе, выходящей в сад, она так заспорила с великим князем Николаем Павловичем, что тот подхватил старушку на руки, отнес к будке часового и посадил за караул. Мол, я вас арестую, еще одно слово возражений, и вы сядете в крепость...

Теперь воспоминание об этой сцене ужасало, а тогда у всех слезы наворачивались от хохота. Старая княгиня Александра Николаевна совершенно не знала, как себя вести в связи с неудобным положением младшего отпрыска. «Милый Сережа, откровенно признайся во всем государю и чистым раскаянием возврати мне, твоей несчастной матери, сына», – писала она.

Но Бюхна, кажется, взял себе за правило изображать слабоумного. Он никак не мог выбрать линию – держался то высокомерно, то приниженно, то представлял мучеником идеи, то случайно отбившимся от стада агнцем, унесенным в волчье логово, но почему-то не съеденным.

На первом же допросе 16 января Серж обрушил на слушателей каскад имен заговорщиков из Тульчина, помянул Кавказский корпус и «братьев» в Польше. 21 фамилия. Десять оказались непричастны. В мемуарах князь привел слова А. И. Чернышева: «Стыдитесь, князь, прапорщики больше вашего показывают». Зачем врать?

Волконскому показывали письма родных. Стыдили. Но он сам боялся только одного: чтобы у него не «вырвали из рук Машеньку» – жену. И писал ей трогательные письма: «Прежде чем я опущусь в могилу, дай взглянуть на тебя еще хоть один раз, дай излить в твое сердце чувства души моей».

Семья генерала Н. А. Раевского вовсе не жаждала, чтобы «Машенька» опускалась вместе с Бюхной в могилу. Пороги Следственного комитета обивал и старый вояка, и его старший сын Александр, пока вместе с братом сам не оказался в крепости. Впрочем, без последствий. Но осадок остался. Молодые Раевские многое знали, и их скорее простили из уважения к заслугам отца, чем уверились в полной невиновности. С этими господами водил дружбу Пушкин. И писал восторженные стихи черноглазой Машеньке. Впрочем, кому из дам он не писал стихов...

«Воды Флегетона»

В ссылке Пушкина, как сейчас вспоминал Бенкендорф, имелась еще одна невнятная история, о которой царская семья не говорила.

Навещаая Лицей, бывший выпускник отправился гулять по коридорам, соединявшим учебные помещения с дворцом. Там, в темном переходе, куда отворялись двери с половины фрейлин, он вдруг слышал шелест платья и, вообразив, будто это горничная княгини Волконской Наталья, кинулся ее целовать.

Каков же был конфуз, когда вместо ответного чмоканья поэт получил звонкую пощечину и обнаружил в своих объятиях саму княгиню. А ведь там могла оказаться и ее величество Елизавета Алексеевна...

Государь Александр I и его супруга к этому времени давно не составляли единого целого, жили отдельно и даже выходили на прогулки в разные часы, чтобы не стеснять друг друга. Однако покушения на свою жену – пусть и воображаемого – император простить не мог. Он знал толк в куртуазных сценах и мигом угадал за попыткой сорвать поцелуй с уст фрейлины страстное признание госпоже.

Стихотворное посвящение Пушкина императрице: «Я пел на троне добродетель с ее приветною красой» – еще куда ни шло. А вот «Прозерпина», написанная уже в ссылке, в 1824 г., – откровенное признание:

Плещут воды Флегетона,
Своды тартара дрожал,
Кони бледного Плутона
Из Аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил...

Когда-то сам Александр Христофорович служил пажом великой княгини Елизаветы, и она даже дразнила его «мой амурчик». Но он бы и в страшном сне не осмелился... «Смертный мил!»

Кроме того, между государем и государыней была тайна, которую никто не хотел разгадывать. Перед свадьбой все умилялись на них, называли Амуром и Психеей. Что стало причиной их разрыва? Его подозрительность? Ее популярность? Когда августейший муж заметил, что молодая, добрая и приветливая императрица вызывает у подданных волну энтузиазма, он сразу же отодвинулся от нее. Построил стену. Целый культ: «Виват Елисавет!» Масонские ложи ее имени – «Елизавета к добродетели». Компании молодых офицеров, возжигавшие в парках фейерверки с буквами «Е. А.». Мало ли в России правило цариц, перешагнувших через головы законных государей? Если бы Елизавета захотела, нашлось бы множество пылких гвардейских сердец...

Всю оставшуюся жизнь Елизавета Алексеевна посвятила немому доказательству: она не виновата. Далекая от всего, по своей воле скрывшаяся в тень и даже ставшая тенью. У нее не было влияния. Как почти не было ее самой.

Однако теперь, после следствия, Александр Христофорович знал: оказывается, находились желающие увидеть императрицу в роли регентши. Было даже составлено воззвание к войскам: «Храбрые воины! Император Александр I скончался, оставив России в бедственном положении. Великие князья Константин и Николай взаимно отказались от престола. Они не хотят, они не умеют быть отцами народа! Но мы не осиротели. Нам осталась мать в благоверной государыне Елизавете. Виват Елизавета Вторая! Виват Отечество!»

Показания поражали той простотой, которая хуже воровства: «В народе смотрели на Елизавету, как на сироту»; «Не имея наследника, она должна была склоняться в пользу конституции. Ей было бы предоставлено приличное содержание, воздвигнут монумент и присвоен титул Матери Свободного Отечества. Она уж не молода, чего желать, кроме славы?»



Императрица Елизавета Алексеевна. Художник А. П. Рокигуль

Несчастную женщину собирались использовать даже без ее согласия. Однако любопытно, что преклонение перед Елизаветой и революционные порывы соединялись у одних и тех же людей. Она единственная из царской семьи нашла в себе силы радоваться смерти Павла I: «Я дышу одной грудью со всей Россией!»

На ней лежала тень тираноборчества. Этой-то тенью давно увядшая Психея и восхищала молодых поклонников свободы, вроде Пушкина.

Сначала император хотел заключить юношу в крепость. Носился даже слух, будто молодого шалопада отвезли в Петропавловку и там выпороли. Впрочем, ложный. Кто его распускал? Толстой-американец? Говорили много и многие. Соболезнуя молодости «шалуна», Александр I заменил заточение ссылкой в Кишинев.

Теперь поднадзорный сидел под Псковом и засорял умы новыми зажигательными стихами.

«Лучше бы людям не родиться»

«Пусть постараются польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов, – продолжал Бенкендорф читать рапорт Бибикова, – и они изменят свое мнение... их пожирает лишь честолюбие и страх перед мыслью быть смешанными с толпою».

Во многом полковник был прав. На одного даровитого малого сотня Висковатовых. И все с амбициями. Однако именно они творят «общественное мнение». А «общественное мнение для власти то же, что топографическая карта для начальствующего армией», – писал сам Александр Христофорович на высочайшее имя. И тут же оговаривался: поступающие данные следует внимательно проверять, «чтобы мнение какой-либо партии не было принято за мнение целого класса».

Что класса? Целого народа. В России две трети молчат, а одна едва может связать слова в предложении. Найдется пара «фрачников» и станет вещать от имени остальных. О политике! Между тем «одна служба и долговременная может дать право и способ судить о делах государственных». В этом Бенкендорф был убежден.

«Фрачников» следовало понудить говорить в пользу правительственных мер. Раз они органически не в силах молчать. И в этом смысле Пушкин, с которым носится «общественное мнение» обеих столиц, мог быть полезен.

Ведь «нравственное влияние», которое власть оказывает на общество, «должно быть неразделимо с самой властью, для которой оно в тысячу раз более необходимо, чем внешние знаки». К такому мнению Бенкендорф пришел еще в 1820 г., после бунта Семеновского полка. В противном случае «будучи лишена своих нравственных атрибутов, которые даются общим мнением, власть, не имеющая надлежащей опоры, оказывается поколебленной, и ее могущество заменяется силой материальной, которая всегда на стороне численного превосходства».

Что следовало из этих рассуждений? Что нельзя сидеть на одних штыках. Нужно нравственное влияние. А каким оно может быть после мятежа, следствия и казней? «Когда государство вынуждено применять чрезвычайные меры, это значит, что пружины его внутренней жизни ослабли, – его же собственные слова, сказанные государю во время разбирательства. – Потом последует наказание, также весьма чувствительное для общества. Понадобятся десятилетия, чтобы загладить впечатление».

В таких условиях стоило вернуть «русского Байрона» русской читающей публике. Ведь уже появились неблагоприятные суждения о самой коронации. Не все были довольны, что вслед за пушечной канонадой танцуют. «После казней и ссылок на каторгу людей, преступных иногда одною мыслью, одним неосторожным словом и оставивших после себя столько вдов и сирот, – писал чиновник по особым поручениям канцелярии московского генерал-губернатора М. А. Дмитриев, – назначен был триумфальный въезд в Москву для коронации. Для Николая Павловича это был действительно триумф: победа над мятежом». Между тем совсем недавно, во время работы Следственного комитета, «слухи приходили и сменялись непрерывно: все трепетали, и в первый раз в жизнь мою я увидел, что боятся говорить громко».

Под большим секретом передавали предсказание старичка шведа из Сибири, который якобы угадал гибель Людовика XVI в результате революции. «При первых плесках царствования Александра Благословенного он предрек помазаннику славу, но уточнил, что наследника не будет. Место же нового государя займет не Константин, а Николай», и его правление «будет таково, что лучше бы людям не родиться».

Попробуйте обойтись с подобными слухами. Впрочем, люди легкомысленны. Не любят горевать. Съехались в столицу и ожидали красивого торжества.

Весь день 21 августа герольды в плащах с двуглавыми императорскими орлами разъезжали по улицам, трубя в трубы. На перекрестках они осаживали коней, эффектно разворачивали свитки, чтобы дорогая толстая бумага хлопала на ветру, и начинали громкими, дьяконскими голосами читать объявление о коронации. Народ сбегался поглазеть на красивых всадников, выскочивших в круговерть московской суеты из какой-то другой, ослепительной и изящной жизни.

Вечером заблаговестили ко всенощной все колокола – дружно и разом, вслед за Иваном Великим. Тепло разлилась над городом. А вместе с ней чувство покоя, какое бывает только на излете лета, когда работы закончены и можно еще поймать несколько сладостных, ленивых дней.

С утра солнце сияло, как в мае. Весь Кремль был забит зрителями, хотя за ворота пускали только по билетам. От собора до собора брусчатку закрывало красное сукно для шествия государя. По обеим сторонам царской дороги, плотно сомкнув ряды, стояла гвардия.

Государь со свитой направился в Успенский собор. Началась служба. Впереди, на закрытом коврами помосте, Николай преклонил колени перед митрополитом.

К чему здесь можно было придраться? Однако нашлись обиженные. Тот же Дмитриев: император не одобрил его награждение. А потому самых темных красок не жалко: «Николай Павлович прочел Символ веры громко и молодецки! ...Я не заметил на его лице не только никакого растроганного чувства, но даже и самого простого благоговения. Он делал все как-то смело, отчетисто, как солдат... на плац-параде». Когда император со свитой возвратился в Кремлевский дворец, не удостоившиеся этой чести чиновники повлеклись смотреть регалии. Их поразила корона: «Я увидел, что крест погнулся на бок. Он состоял из пяти больших солитеров; основной, самый большой, камень выпал, и весь крест держался на пустой оправе. Нам показалось это дурным предзнаменованием».

Разговоры, разговоры...

Персы

Город еще гудел весельем. Казалось, никто не вспоминал о повешенных. Когда прибыл Александр Сергеевич, его резануло это общее легкомыслие. Неужели никому, кроме друзей, до случившегося нет дела? «Москва оставила во мне неприятное впечатление», – писал поэт Вяземскому 9 сентября. Но не расшифровывал, оставляя впечатления до личного разговора: «...лучше самим видеться, чем переписываться...»

Между тем Первопрестольная действительно оказалась равнодушна к вчерашним казням. Она погрузилась в шум праздника. Рука привычно выводит: «стараясь забыть». Но правда состояла в том, что Москве в тот момент и забывать было нечего. Мало кто интересовался всплеском неповиновения в Петербурге. Это позднее, в минуты слабости и поражений, разночинные писатели припомнят правительству... Пока же оно сильно, такие, как князь Петр Андреевич Вяземский, останутся в меньшинстве. Чтобы это меньшинство стало подавляющим, нужна крупная неудача. Она замаячила, как перспектива, уже в дни коронации.

Посреди общего восхищения пришли известия из Персии. С этой секунды Бенкендорф, судя по мемуарам, думал главным образом о страшной дыре на Востоке – никак не о Пушкине. 16 июля войска восточного соседа напали на Закавказье. Момент в Тегеране считали удачным: шахзаде Константин и шахзаде Николай непременно станут оспаривать друг у друга корону, в России начнется смута. Восстание на Сенатской дало повод сомневаться в силе империи. И Россию немедленно взялись пробовать на зуб то с одного, то с другого бока.

Персы были только первыми. Следом маячили турки, поляки... А за их спинами заинтересованные кабинеты – Лондон, Вена, Париж. Эти игроки пока предпочитали действовать чужими руками. Возле шахского трона особенную силу показывали англичане. На коронации с самыми дружескими пожеланиями от них присутствовали дипломатические представители. Но именно английский посланник сэр Эдвард Дисборо обратил внимание своего кабинета на слабость нынешнего императора.

В «Меморандуме о заговоре» в январе 1826 г. он писал: «Николай мог бы казнить мятежных офицеров, или, возможно, сделав некоторые уступки их взглядам, он пришел бы к согласию с родовитой знатью и правил бы мирно. Возможно также, что он стал бы окончательно ими поработен... Но он показал им штык, и посредством штыка ему придется впредь ими управлять. Индивидуумы, являющиеся членами 150 знатных семей, находятся под арестом... С дворянством он находится в состоянии открытой войны... Офицеры этой армии – та же самая знать, и если это противостояние будет длиться далее...» Кто знает, что тогда произойдет? Внутренние смуты и неспособность защищать свои границы. Как минимум.

Первые шаги персов были успешны. Под предводительством принца Аббас-Мирзы их войска «заняли Ленкорань и идут далее, имея до 60 тысяч войск регулярных и 60 тысяч войск иррегулярных и около 80 заряженных орудий». Небольшой – всего 50-тысячный – Кавказский корпус под руководством Алексея Петровича Ермолова не смог организовать надежную защиту. Персы углубились в Грузию и Азербайджан.

Государь призвал к себе своего далеко не старого «отца-командира» И. Ф. Паскевича и уговаривал его ехать на Кавказ, несмотря на трудные отношения с Ермоловым: «Я тебя прошу, сделай для меня это... Неужели я так несчастлив, что, когда только коронуюсь, и персияне – чего никогда не бывало – берут у меня провинции? Неужели Россия не имеет уже людей, могущих сохранить ее достоинство?»

Непривычный для императора тон. Но то были первые месяцы царствования. Критический момент. И разговор с близким человеком, хорошо знавшим Николая I еще великим князем.

К тому же на следствии выяснилось много неприятного для «проконсула» Кавказа Ермолова. И государь имел причины ему не верить. Впрочем, как и сам Бенкендорф. Декабрист Цебриков писал: «Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и потом смерть пяти мучеников, мог бы дать России конституцию, взять с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург... Но Ермолов, имев настольную книгу Тацита и комментарии на Цезаря, ничего в них не вычитал».

Молодо-зелено. Только человек, не закаленный «долговременной опытностью» в делах, способен полагать, будто дивизию так уж легко снять. Весь корпус расквартирован – все равно что разбросан – по несколько тысяч человек в разных местах. Александр Христович, начинавший службу на Кавказе, эту арифметику знал хорошо. Ермолову перейти свой Рубикон и прыгнуть из «проконсулов» в «диктаторы» посложнее, чем Цезарю.

Но тот факт, что Алексей Петрович – сторонник Константина и намеренно задержал присягу, в военной среде известен. Сразу возникли домыслы: не намеренно ли командующий Кавказским корпусом впустил врага в русские пределы, чтобы удобнее ловить рыбу в мутной воде? В воде новой Смуты?

«Надо бы спрыснуть!»

Никто не видел этой новой смуты ближе Александра Христофоровича. Весь день 14-го он был подле государя. Близ царя, близ смерти, как говорится. А вечером по горячим следам написал другу Михайле Воронцову в Одессу: «Если бы эта династия не занимала трон, ее следовало бы провозгласить». И вскоре получил ответ: «Когда же государь начнет нас щадить, а...⁵ вешать?» «Нас» – значит тех, кто работает, держит на себе империю. О вторых и так ясно.

В ночь на 15-е Бенкендорф специально проехал по улицам. Мороз крепчал. Город был наводнен войсками и разделен на квадраты бивуаков. Полиция при свете факелов и костров очищала Сенатскую площадь от трупов. Еще никому в голову не приходило соскребать с тротуаров застывшую кровь. Руки-ноги бы собрать да сложить в сани. Вереницы возков, телег, розвальней, а на них не прикрытые рогожей люди ли, куски ли людей – не поймешь.

Бенкендорф, проезжая верхом по набережной в сторону Галерной, остановил квартирного надзирателя, чтобы спросить: сколько? За тысячу.

На зданиях вокруг окна до верхних этажей были забрызганы мозгами и кровью. В нише на стене Сената прежде стояли Весы Правосудия. Туда забрался народ, чтобы лучше видеть творившееся на площади. Первый залп картечи, такой мирный, по мысли государя, – поверх голов мятежников – попал по зевакам.

Бенкендорфа трудно было удивить кусками человеческих тел. Но менее всего хотелось продолжения. Не на поле боя, не в чужом краю. Тогда неясно было, полыхнет ли в Москве, Киеве, Варшаве? Юг, 2-я армия, Тульчин. Что будет там?

Когда генерал вернулся во внутренние комнаты дворца, они походили на бивуак. Беспрестанно являлись посыльные с донесениями командиров разных частей. Государь спать не мог. Он оставался в том же мундире, в который облачился утром, переодеться сил не хватало. Прилег на полчаса на стоявший в коридоре диван, закрыл глаза и тут же открыл.

Уже приводили арестованных. Генерал-адъютанту К. Ф. Толю было поручено снимать показания. Вскоре его сменил Бенкендорф. Он расположился на софе возле маленького столика под портретом покойного императора. Считалось, что смотреть в лицо Александру Павловичу бунтовщикам будет стыдно. «Мое намерение, – сказал тогда император Александру Христофоровичу, – не искать виновных, а дать каждому шанс оправдаться».

Полгода, как пустой сон. Кому-то из арестованных он сочувствовал. Кто-то его раздражал. Был суд, который вовсе не следовало бы считать фарсом. Документы готовил сам М. М. Сперанский – лучший юрист России, а может статья, и Европы. Реформатор. Однако и у него душа не принимала бунта. Слишком страшное «завтра» он сулил.

Однако хуже всего Бенкендорфу показался день казни. 13 июля.

В три, когда осужденных вывели, едва развиднелось, и люди с трудом могли рассмотреть собственные руки. Часовые молчали. Священник в предпоследний раз подошел с крестом. Бестужев-Рюмин плакал. Рылеев шел с поднятой головой. Он был жертва при заклании и верно понял свою роль: «Я умираю как злодей, да помянет меня Россия!»

Каховский молчал. Он все сказал на следствии. Горько сожалел о Милорадовиче. Негодовал на покойного императора. Уверял, что дальше будет хуже. Видел слезы молодого царя. Слышал его отзыв: «Это человек, исполненный самой горячей любви к родине, но закон-

⁵ Обычно исследователи по созвучию подставляют в документ слово «дураков», но у М. С. Воронцова употреблено более грубое ругательство: «м...ов». Вписанное во французский текст русскими буквами оно особенно ясно показывает позицию графа.

ченный изверг». Чего же больше? Утешаться тем, что ты единственный, кого государь действительно хотел помиловать?

Пестель вышел, понутив голову. Без речей. И как видно, молился. Он всегда много думал о Боге, только мысли его на сей счет иным казались странными. Вид виселицы привел полковника в замешательство: «Я полагал быть расстрелянным».

Тем временем из крепости стали выводить тех, кому надлежало только увидеть казнь. А самим подвергнуться позорному аутодафе с ломанием шпаг и сжиганием мундиров. Их было немногим более сотни. Удивленный ропот прошел над плацем, сжатым в каре первыми гренадерскими ротами гвардейских полков. Говорили, что в казематах побывало около полутысячи. Где же остальные? Менее всего верилось, что их отпустили.

Барабанная зыбь.

Чтение приговора.

Измученные люди, паче чаяния, оказались равнодушны к августейшему милосердию. Их смешила мрачная торжественность. Не трогало унижение перед товарищами. Бедный князь Сергей Волконский имел наглость раскланиваться со знакомыми, которые шарахались от него, как от зачумленного.

Заклученный в четвертое, сводное, каре Мишель Лунин, дослушав сентенцию суда, крикнул по-французски: «Прекрасный приговор, господа! Надо бы spraysнуть!» И тут же, скинув штаны, исполнил сказанное.

Его выходка была встречена с веселым сочувствием. В том смысле, что мочились они на прощение императора. И хотя больше никто примеру не последовал, но черта между осужденными и их вчерашними сослуживцами обозначилась резко.

На помосте между тем заканчивались последние приготовления. Раздался рассыпной барабанный бой, каким обычно сопровождают гонение сквозь строй, и уже не умолкал ни на минуту. Осужденным нахлобучили на головы белые мешки, накинули петли. Скамьи мерно подрагивали под ногами. Когда их вытащили, лишь две веревки упруго дернулись, оставив качаться коконы человеческих тел. По судорожному, быстро прекратившемуся движению ног было видно, что Пестель и Бестужев умерли сразу. Самый виноватый и самый молодой...

Но трое несчастных полетели вниз. Других веревок не было, пришлось посылать в лавки, по утреннему времени закрытые. Наконец достали втридорога и, чертыхаясь, начали прилаживать заново. Опять явилась скамья. Послышался барабан, нервно выбивавший «зеленую улицу». Доска шатнулась, и новые веревки оправдали надежды.

Немногочисленная, но с каждой минутой прибывавшая толпа рванула было через заграждения к виселице в надежде поглумиться над трупами. В воздухе замелькали камни и палки. Но солдаты оттеснили зевак от места казни. Через два часа тела сняли и отнесли в Троицкую церковь для отпевания. На следующий день должен был состояться общий молебен за упокой тех, кто погиб на Сенатской площади.

Через неделю пришло письмо от друга Михайлы из Одессы: «Ни в одной другой стране пятью виселицами дело бы не ограничилось».

«Как я боялся, как бежал»

Какое из этих страшных событий подтолкнуло государя к решению о Пушкине? Паскевич, конечно, все исправит на Кавказе. Но и здесь, «во глубине России», необходимо склонить чашу весов в пользу молодого императора. Коронационные торжества – прекрасное время для помилования.

Дорога из Михайловского до Москвы заняла четыре дня. Ровно вдвое больше, чем у фельдъегеря Вальшема в одиночку. «Без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не делается», – писал поэт соседке П. А. Осиповой. Сопровождающий имел строжайшее предписание забрать Пушкина и без промедления доставить к императору. Ожидать от такой спешки добра не стоило. Сам Вальшем ничего не знал и, кажется, думал, что везет смутьяна на расправу.

С собой Пушкин захватил «Пророка», намереваясь при встрече зачитать царю:

Восстань, восстань, пророк России!
Позорной ризой облекись,
Иди и с вервием вокруг выи
К у[бийце] г[нусному] явись!

Так, с обличием у сердца, поэт проделал весь путь, крайне возбужденный и на вид совсем больной. 8 сентября около четырех пополудни экипаж прибыл к канцелярии дежурного генерала. А уже оттуда поднадзорного препроводили в Чудов дворец в комнаты императора.

Многие, кто был представлен Николаю I после коронации, отмечали, что император не походил на себя. Чиновник Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Отворилась дверь, и вышел человек весьма еще молодой, высокого роста, тоненький, жиденький, беленький, с нагнутыми несколько плечами и со взглядом совсем не суровым, каким ожидал я его. Откуда взялись у него через два года спустя, вместе со стройностью тела, эти богатырские формы, эти широкие грудь и плечи, это высоко поднятое величественное чело? Тогда еще ничего этого не было».

Но Пушкин видел Николая Павловича раньше. Он оставил его портрет на полях поэмы «Руслан и Людмила», написанной фактически к бракосочетанию великого князя с прусской принцессой Шарлоттой, в православии Александрой Федоровной. Тогда, в 1817 г., камерпаж П. М. Дараган описывал Николая: «Он был очень худощав и оттого казался еще выше. Облик и черты лица его не имели еще той округлости, законченности красоты, которая в императоре так невольно поражала каждого и напоминала изображение героя на античных камнях».

Никаких камей. «Худенький, жиденький», совсем не строгий. Менее всего похож на «убийцу». Тем более на «гносного».

В поэме «Тазит» 1829 г. Пушкин описал встречу молодого горца с кровным врагом, которого герой не может убить из сострадания.

Отец: Кого ты видел?
Сын: Супостата.
Отец: Кого? кого?
Сын: Убийцу брата.
Отец: Убийцу сына моего!..
Приди!.. где голова его?

Тазит!.. Мне череп этот нужен.

Дай нагляжусь!

Сын: Убийца был Один, изранен, безоружен...

В поэме, узнав, что юный горец не совершил «долга», отец прогоняет его словами: «Ты трус, ты раб». И желает: «Чтоб мертвый брат тебе на плечи/ Окровавленной кошкой сел/ И к бездне гнал тебя нещадно».

Если учесть, что «братьями» Александр Сергеевич называл и пятерых повешенных, и сосланных в Сибирь, чья «участь ужасна», то возникает обоснованное сближение.

Закономерен вопрос: кто из двоих был в тот момент слабее? Кто в ком нуждался? И сразу же неумолчный хор голосов ответит: император после «расправы» с декабристами нуждался в авторитете Пушкина. Его возвращением он прикрыл самого себя от стрел «общественного мнения». Недаром княжна А. И. Трубецкая заявила: «Я теперь смотрю другими глазами на государя, потому что он возвратил Пушкина». Ее мнение как бы вобрало в себя десятки подобных же, разбросанных по пушкинской мемуаристике.

Но есть еще и слова самого поэта. В 1835 г. в переводе Горация он рассказал о времени, когда «за призраком свободы» его и молодых друзей «Брут отчаянный водил»:

Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросаю щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал,
И спас от смерти неминуей.

В реальности все было менее «античным»: печка, продрогший гость, его царственный собеседник, явно не знавший, как себя вести. Сам Николай рассказывал в присутствии М. А. Корфа, старого соученика поэта по Лицею: «Я впервые увидел Пушкина... после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения, совсем больного, и в ранах... “Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?” – спросил я его между прочим. “Был бы в рядах мятежников”, – отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пушу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным».

Сколько раз отечественное литературоведение раскаивалось за Пушкина в этом рукопожати! А сам поэт? В его отношениях с императором бывали и восторги, и обвинения, и усталость друг от друга. «Что же, – продолжал Николай I свой рассказ, – вслед за тем он без моего позволения и ведома уехал на Кавказ!»

А мог бы вспомнить и чтение по московским гостиным «Бориса Годунова», и «Гавриладиу»... Но что простил, то простил.

Предоставим снова слово Вигелю, который отлично передал катарсис, пережитый при встрече с императором: «Когда с улыбкой он обратил ко мне несколько приветливых слов, то в одну секунду мой страх превратился в неизъяснимую радость... опять полюбил я жизнь и ею рад бы был пожертвовать для него».

Но все могло в одну секунду перемениться. Если бы достоянием гласности стал тот вариант «Пророка», где исследователи из букв «У. Г.» восстанавливают «убийцу гнусного». Рассказ о «каких-то очень подозрительных стихах», которые Пушкин обронил ни то на дворцовой лестнице, ни то дома у С. А. Соболевского, передают несколько свидетелей:

П. А. Ефремов, А. В. Вeneвитинов, затем П. И. Бартенев со ссылкой на Н. А. Полевого, А. С. Хомяков в письме к И. С. Аксакову.

Хотя самый страшный вариант последней строки «Пророка» известен только благодаря Полевому, учитывая его, можно понять предостережение управляющего III отделением М. Я. Фон Фока в письме Бенкендорфу 17 сентября: «Говорят, что государь сделал ему (Пушкину. – *О. Е.*) благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему».

Глава 2. «Самозванец»

В первый раз Бенкендорф предметно столкнулся с Пушкиным не по поводу «Пророка» или даже «Андрея Шенье». А по поводу досадного недоразумения – поэт без спросу читал у друзей «Бориса Годунова». Как говорится, давши слово – держись... А Пушкин дал слово.

И тут же нарушил. Даже не предав случившемуся значения.

И не он один. В знаменитом письме 1837 г. шефу жандармов Жуковский удивлялся: «...Нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писавших не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным?»



А. С. Пушкин. Художник И.-Е. Вивьен де Шатобрен

В каком свободном мире, по сравнению с русским XX в., жили эти люди!

Слова Жуковского справедливы: «Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя». Тем не менее Пушкина только что освободили. В отношении его все дули на воду. Кроме самого поэта.

Давши слово, крепись

Если бы Александр Христофорович интересовался литературными новинками, то он бы знал, что Пушкин далеко не всегда держит обещание. И делает это вовсе не из легкомыслия. Как произошло, например, в истории с Петром Андреевичем Вяземским – ближайшим другом и в годы южной ссылки едва ли не душеприказчиком поэта.

К моменту освобождения именно ему Пушкин был обязан половиной своей популярности. Когда император Александр I отправил поэта в Кишинев, тот никому не был интересен, кроме своих же молодых крикунов. Четыре года, проведенные в ссылке, фактически создали ему имя. Кто бы мог подумать, что шалопай так распишется! Поначалу ныл из Кишинева, ныл и из Крыма. Ни друзей, ни забав. Потом пообвыкся, стал со скуки марать бумагу. Пока в столицу шла мелочь, ею тешились барышни и молодые офицеры. Денег на безделках не заработать. Но когда появились «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», этим уже можно было торговать.

В одночасье из знаменитого Пушкин стал коммерческим автором. Вяземский заворочил издателей горькой участью поэта – ничто так не возбуждает интерес публики, как гонения правительства. Договорился о невиданном тираже – 1200 экземплярах, – который книготорговцы с колес взяли «в деньги», то есть раскупили подчистую, выложив три тысячи рублей. По пятьдесят целковых за строчку! Каково? Особенно если вспомнить, что «Руслан и Людмила» принесли автору всего пятьсот рублей.

Блестящая сделка! Сама по себе талантливая рукопись не гарантирует продаж. Коммерческий успех складывается из усилий многих: издателей, офень и даже хорошеньких сплетниц, разъезжающих из дома в дом со скандальными новостями об авторе. Одной из таких сплетниц была супруга самого Вяземского – княгиня Вера Федоровна. Даже согласно воспоминаниям сына Павла, она, сколько могла, раздувала южные похождения поэта.

«Фонтан» окатил публику с головы до ног. Вместо предисловия Вяземский написал статью о романтизме. Досталось всем любителям классического старья. Предисловие надедало шума, разом превратив далекого поэта во флаг нового направления, а близкого критика – в начальника штаба при гениальном, но сумасбродном полководце.

Вскоре сладился и журнал «Телеграф» вместе с Николаем Полевым – орган романтизма. Пока Пушкин оставался в ссылке, можно было говорить от его имени. Но поэт уехал из Одессы 31 июля 1824 г. и очень скоро осознал собственную силу.

Чем севернее уходил тракт, чем «образованнее» становились города, чем больше на станциях толклось офицеров и чиновников, тем чаще, услышав фамилию Пушкин, проезжающие кидались к поэту, норовя носить его на руках. Только теперь гонимый странник осознал, кем сделала его судьба в обмен на несчастья. Любой стол был для него накрыт, любая кампания почитала за честь пригласить к себе.

Слава сразу вскружила Александру Сергеевичу голову. Несмотря на клятвы, данные в письмах с юга, он, чуть только оказался в досягаемости Петербурга, отправил роман в стихах столичному издателю – П. Н. Плетневу. Вяземский, уже успевший оповестить всех, что скоро, скоро в «Телеграфе»... оказался в ложном положении. Выходило, будто он неправомерно присвоил себе место душеприказчика ссыльного поэта.

Была ли со стороны Пушкина то неблагодарность? Или попытка показать, что ни им, ни его произведениями никто не смеет распоряжаться?

Теперь в подобном же положении должен был оказаться император. Уже в письме Пушкина 11 мая имелась если не ложь, то двоякость. Во-первых, было сказано, что поэт «исключен из службы» за легкомысленное письмо об атеизме. На деле он сам добивался отставки. Во-вторых, давая подписку «... обязуюсь впредь никаким тайным обществам... не принад-

лежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них», Пушкин забыл и о Кишиневской масонской ложе, в которой состоял, и своей осведомленности относительно заговорщиков. По его письму Жуковскому января 1826 г. выходило иное: «...правительство... в журналах объявило опалу и тем, которые имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам».

Преувеличение, конечно. Но допустимое. Сам Александр Христофорович знал «о заговоре» с 1821 г. и составлял на имя императора Александра I докладную записку.

Библиотекарь гвардейского штаба Грибовский осмелился подать через него донесение на высочайшее имя: «Состоя с прошлого года членом Коренной управы “Союза благоденствия”, думал я поначалу, что радение сего общества направлено ко благу человечества и ко смягчению в Отечестве нашем тягостных порядков крепостного уклада. Однако же весьма скоро убедился, что товарищи мои, большею частью люди молодые и поверхностно образованные, видят единственным способом достижения благородных целей кровавое возмущение. Руководят ими лица высокого положения. Николай Тургенев, Федор Глинка, Муравьевы, Михаил Орлов, Оболенский, Якушкин...»

Уже поле дела 14-го Бенкендорфу довелось разбирать бумаги покойного государя Александра I. Нашел докладную записку 1821 г. Если бы тогда же задумались... Не угодно было принять.

Пророком он себя, конечно, не считал. Одна «долговременная опытность»... Теперь эта опытность подсказывала, что с прощенным поэтом все не так просто. «Этот господин известен за философа, – писал о Пушкине управляющий делами III отделения М. Я. Фон Фок, – который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к... житейским наслаждениям. Этот честолобец, пожираемый жаждою вожделений... имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить, при первом удобном случае».

«Когда воображаю...»

Не следует, конечно, одевать Бенкендорфу очки Фон Фока, у шефа жандармов имелись свои глаза. Но легко было обмануться. Ведь в донесении управляющий рисовал типичного байрониста, денди, каким Пушкин хотел казаться людям посторонним и какого нередко разыгрывал даже перед близкими друзьями, например перед князем Вяземским.

«Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? – писал ему друг в мае, еще до возвращения из ссылки. – Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь. Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и [шлюх], то мое глухое Михайловское наводит на меня глухое бешенство».

«Слобода» была дана. А вот право покидать страну к ней не прилагалось. Жуковский был возмущен этим обстоятельством: «Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России».

Почему? Пушкина, из-за юношеских стихов, которые использовались в агитации заговорщиками, считали «прикосновенным» к делу 14 декабря. Сам поэт близости с мятежниками не отрицал даже в царском кабинете. После разговора с Николаем I он получил право уехать из Михайловского, жить в Москве и публиковаться после личной цензуры императора.

В рамках названного разрешения и действовали власти. Эта тонкость обычно не учитывается, когда заходит речь об освобождении Пушкина из ссылки. Никакого полного доверия быть не могло. Двойкость оставалась обоюдоострой.

Между тем в Москве осени 1826 г. повторялась картина дорожного триумфа. Друзья наперебой спорили, у кого в самый первый раз прошло чтение «Годунова»: у Соболевского, Вяземского, Зинаиды Волконской или Веневитиновых.

Наблюдать забавы черни Пушкин не пошел. «Сегодня 15 сент[ября], у нас большой народный праздник, – писал он Осиповой, – версты на три расставлено столов на Девичьем поле; пироги заготовлены саженьями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть... но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот – злоба дня».

Даже император оставил во дворце мать и супругу – не женское зрелище, вдруг толпа поведет себя в лучших традициях народного гулянья? Но обошлось.

«Огромное количество людей наполняло улицы... – вспоминал Бенкендорф, – все это заставляло опасаться драк и беспорядков. Тем не менее ни единый случай не... омрачил праздник... Даже на народном празднике, устроенном за пределами города, где собралось более 100 тысяч человек, разгоряченные раздаваемым бесплатно и в огромном количестве вином... к большому удивлению иностранцев, при приближении императора народ выказывал уважение. Люди собирались и толпились вокруг него, не затрудняя его проезда, не совершая насилий и не пользуясь сложным положением и бессилием полиции с тем, чтобы обворовать или оскорбить кого-нибудь».

А вот недоброжелательный Дмитриев иначе изобразил картину: «Праздник кончился в несколько минут. Русский народ жаден и не способен ни к покойному наслаждению, ни к порядку; удовольствие для него всегда сопровождается буйством. По первому знаку толпа бросилась на столы с остервенением; а никакая сила не удержит воли, когда не удерживает ее закон моральный и приличие. В несколько минут расхватили пироги и мясо, разлили напором массы вино, переломали столы и стулья, и потащили домой кто стул, кто просто доску в полной уверенности, что это не грабеж, потому что все это царем пожаловано народу».

Пушкин, когда ему рассказывали о событиях на Девичьем поле, удивлялся: «Как же не подрались? ...Надо было подраться». В традициях деревенской свадьбы. Значит, столы ломали, но никого не убили. Чем уже следовало гордиться.

Сам Александр Сергеевич погрузился в восторженные клики старой столицы. Елена Николаевна Киселева, в девичестве Ушакова, одна из юных нимф, которым в дар приносил свое сердце поэт, вспоминала о его приезде в Большой театр: «Мгновенно разнеслась по зале весть... имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все балконы обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою». «Публика глядела тогда не на сцену, а на своего любимца», – добавлял Кс. А. Полевой. Он находился «на высшей степени своей популярности», – заключал Н. В. Путята. «На всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя... дамы выбирали поэта непрерывно», – сообщал С. П. Шевырев.

Немудрено забыться. И Александру Христофоровичу надлежало напомнить. Хотя, видит Бог, душили другие дела.

«Какая разница?»

Бенкендорф, что называется, зашивался с новым ведомством. Полным ходом шли формирование, подбор офицеров, трения с Министерством внутренних дел, вельможные кляузы. Огорчений хватало.

Вот характерный случай. Поручик П. М. Голенищев-Кутузов, адъютант Бенкендорфа по кирасирской дивизии, описал в мемуарах разговор с шефом. После учреждения Жандармского корпуса Александр Христофорович обратился к нему со словами: «Здравствуйте, господин жандармский офицер!» Юноша онемел. Потом собрался с силами и объяснил, что не может надеть голубой мундир: «Ваша служба уже известна всей России, и вы можете восстановить и облагородить этот мундир в глазах нации; мне же в моих летах (мне было 25 лет) и в малом чине невозможно начинать военную карьеру жандармом».

Что тут скажешь? Какие слова подберешь? Что офицерами жандармов назначают одних добромыслящих, отменного поведения и столь же отменного образования молодых людей? Что жалованье у них выше, а служба не в пример любопытнее, чем в гарнизонах? Но поручик уже все сказал: не хочет быть доносителем.

Однако было и другое, чего оба собеседника предпочитали не касаться. Бенкендорф знал, что его подчиненных – всего 16 офицеров III отделения – унижают и травят в глаза и за глаза. Что некоторым отказывают от дома знакомые, а с иными не здороваются родные. Например, министр юстиции князь Д. В. Дашков выставил племянника. Чтобы надеть голубой мундир, нужна была известная дерзость. А Голенищев-Кутузов, несмотря на благородные порывы, прогнулся.

Шеф жандармов мог загнать юношу за Можай: устроить перевод в такой медвежий угол, откуда не в меру щепетильный адъютант не выслужился бы до гробовой доски. Но Александр Христофорович не отличался мстительностью. Он даже не помешал поручику остаться в лейб-гвардии.

Что офицеры? Над ним самим осмелился посмеяться великий князь Константин Павлович. Вот кого Бенкендорф недолюбливал. За медвежьей бестактностью – тонкие намеки.

Князь Вяземский приводил восклицание цесаревича, впервые увидевшего шефа жандармов в голубом мундире: «Савари или Фуше?» И отзыв Александра Христофоровича: «Савари, порядочный человек». На который Константин только пожал плечами: «Да какая разница?» Вяземский пояснял: «Савари и Фуше были оба министрами полиции при Наполеоне I, причем Савари пользовался всеобщим уважением, Фуше напротив».

А Пушкин, кажется, был не против Константина на престоле. После смерти Александра I, в междуцарствие, еще до роковых событий на Сенатской, ссыльный писал П. А. Катенину: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем... К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Разве Александр I был глуп? Бенкендорф мог бы многое рассказать о втором из сыновей вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Наблюдал с детства.

Что умен, правда. Только ум у него с подвывертом. Как у покойного Павла. Больной, изощренный. К делу не приспособить.

И эта история с «Самозванцем» вся как-то связана с Константином. Но потом, потом... Пока формирование структуры. Укусы тех, кто Бенкендорфу по плечу, то есть министров. Ведь цесаревич – не его уровень. Здесь одна защита – император. Есть люди пониже, от которых зла не меньше. Хотя общество изнывает от злоупотреблений, и благонамеренные обыватели называют жандармский устав – уставом «Союза благоденствия».

Еще во время коронации Фон Фок доносил из Петербурга: «Теперь слышится со всех сторон: “Пора положить преграду грабежу и наказать взяточников”... Доносы посыпятся градом... В продолжение двадцати пяти лет бюрократия питалась лихоимством, совершаемым с бесстыдством и безнаказанностью... Ремесло грабителя сделалось уж слишком выгодным. Комиссионеры (чиновники, берущие комиссию, взяточники. – *О.Е.*) на все решались, все делали, ни в чем себе не отказывали... Правительству предстоит выбрать одно из двух: или допустить ужасное зло, или прибегнуть к реформе... и найти в этом средство к исправлению старых несправедливостей».

О какой реформе речь? И откуда взялся срок – четверть века? Под реформой понималось учреждение надзора, важнейшей задачей которого стала вовсе не борьба со свободомыслящими литераторами, а контроль за исполнением законодательства на центральном и местном уровнях – от министров до городничих. О чем свидетельствуют отчеты III отделения.

Уточнение «за последние двадцать пять лет» – вовсе не случайно. Оно как бы охватывало царствование Александра I, но острие критики направлено не на него. Каждый знал: за войну чиновники распоясались – стали брать «не по чину». А «война» для людей того времени охватывала не только грозный 1812 г. и Заграничный поход русской армии. Противостояние с революционной Францией началось в конце XVIII в., продолжалось в антинаполеоновских коалициях и, едва завершившись с выводом русских оккупационных корпусов из-за границы, вновь дало о себе знать полосой европейских революций 1820-х гг.

Почти четверть века внимание правительства было приковано к внешней политике. Чтобы действовать без помех, требовался внутренний мир – чиновников старались не трогать, не злить частыми проверками, не подвешивать над их головами дамоклов меч. Результатом стало ощущение «безнаказанности», о котором писал Фон Фок.

Попытки ревизовать отдельные случаи «злоупотреблений» лишь оттеняли общую безрадостную картину. В таких проверках участвовали и сам Бенкендорф, и Паскевич, за плечами которых стояли армейские дивизии, обеспечивавшие независимость от местных властей.

Вопиющее положение обусловило и характер мер верховной власти. Николай I предпринял попытку создать аппарат, способный сломить сопротивление чиновников, разрушить их круговую поруку и ввести деятельность администрации в рамки закона.

3 июля 1826 г. именным указом было образовано III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которому подчинялся Корпус жандармов. В отделении в разное время служило от 16 до 40 человек, в корпусе – более четырех тысяч (204 офицера, в том числе 3 генерала, 3617 рядовых и 457 нестроевых чинов).

Много или мало? Предполагая создать аналогичные органы, подчиненные новой революционной власти, Пестель называл 50 тысяч человек. В тот же период во Франции насчитывалось 20 тысяч жандармов, в Австрийской империи 19 тысяч. Россия держалась на одной планке с Пруссией, где на 100 тысяч человек приходилось 8 жандармов. Рядом, в Саксонии – 10, в Ганновере – более 20, в Брауншвейге – 40, в Баварии – 50.

Таким образом, представление о «всевидающем оке» и «всеслышащих ушах» отражало скорее не реальность, а субъективное мироощущение образованного человека второй четверти XIX в. При всем желании... «некем взять», как говорил покойный Александр I. Малое число жандармских и полицейских чинов упиралось в невозможность казны содержать больше. Так, в 1827 г., по сведениям III отделения, в Калужской губернии насчитывалось всего 200 полицейских. Поднатужившись, казна смогла потянуть 260 человек на приблизительно 400 тысяч жителей. Жандармских чинов служило в губернии до четырех, но их состав быстро рос и в конце царствования составлял уже 34 человека. Огромная сила! Крайней малочисленностью объяснялись и широкие полномочия «блюстителей порядка», которым

не только «три года скачи, ни до какой границы не доскачешь», но и ни до каких других властей.

«Черная туча»

Малочисленность полиции, обусловленная возможностями – вернее, невозможностями – казны, объясняла постоянные упования III отделения на нравственность и религиозность народа. Только повиновение заповедям позволяло надеяться, что подданные не затопчут служителей порядка, а потом и друг друга.

Поставленные перед Корпусом жандармов задачи были для русского общества новыми. Когда последовали первые аресты в Министерстве финансов, то в Петербурге решили, что все еще продолжают хватать причастных к делу 14 декабря.

Между тем на золотых приисках, где благодаря воровству казна получала только треть от добытого, убийства проверяющих происходили регулярно. В начале царствования на западных границах Жандармский корпус вел настоящие войны с разбойничьими шайками. Жители Курляндской, Лифляндской и Витебской губерний, некогда принадлежавших Польше и не отличавшихся богатством, получали паспорта, позволявшие им попасть в более благополучные центральные районы страны, и целыми партиями направлялись грабить. Чтобы осуществлять их переброску через Виленскую губернию, необходимо было попустительство местной администрации и даже местной полиции.

Последняя была из рук вон плоха. Об этом в голос кричали жандармские донесения с мест. Тот же Бибилов в конце письма о Пушкине прямо говорил: «Я вынужден, генерал, входить с вами во всякого рода подробности, потому что вы вовсе не должны рассчитывать на здешнюю полицию: ее как бы не существует вовсе, и если до сих пор в Москве все спокойно», то сие стоит приписать милости Божией и «миролюбивому характеру» русских обывателей.

Глубоко неверна точка зрения, будто Пушкин, находившийся при Александре I под надзором полиции, как бы «перешел по наследству» к III отделению. Это были разные, подчас враждовавшие друг с другом учреждения. Тот факт, что поэта изъяли из ведения полиции и как бы частным образом отдали под присмотр Бенкендорфа, говорил о статусе бывшего опального в глазах императора.

Следили за Пушкиным, вопреки мнению советских исследователей, спустя рукава – иначе он не смог бы ни удрать на Кавказ, ни затеять роковой дуэли. Вероятно, в присмотре за поэтом не видели дела первоочередной важности. Пушкин стал неприятным бонусом – ложкой дегтя в бочке меда, под которой понималось само создание ведомства. Ведь Бенкендорф подавал проекты о введении жандармерии с 1807 г. – почти двадцать лет.

С самого начала своего существования III отделение участвовало в проверке гражданских чиновников на местах. В 1833 г. жандармский полковник А. П. Маслов сообщал из Тобольска: «Здесь начальство... и городничий учредили за мной полицейский надзор столь явным и дерзким образом, что я не могу сделать шага из моей квартиры, чтобы не быть преследуемым. По ночам расставляются и конные надсмотрщики, дающие знать в полицию, когда я выезжаю, возвращаюсь, кто ко мне ездит и тому подобное». Собирать сведения в таких условиях было практически невозможно.

Что Тобольск? За Фон Фоком полиция следила в самом Петербурге, не выпуская на улицу. Генерал-губернаторы обеих столиц надеялись, что новое ведомство подчинят непосредственно им. В III отделении видели просто вторую полицию, заведенную правительством с перепугу после 14 декабря.

Нельзя сказать, чтобы бюрократический аппарат выразил восторг по поводу контрольных функций, которые возложила на себя канцелярия императора. Ф. Ф. Вигеля, приятель Пушкина времен южной ссылки, а в тот момент градоначальник Керчи, писал: «Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров, которые должны

были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли все исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных? Даровать таким людям полную доверенность значило лишить ее все местные власти, высшие и низшие... Вся спокойная, провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить, какая деморализация должна была от этого произойти!»

Обратим внимание на слово. Оно употреблено не совсем в современном значении. В 1817 г. Бенкендорф во время одной из проверок писал Воронцову, что «наших чиновников не деморализуешь ни пехотой, ни артиллерией». Через десять лет самим фактом учреждения высшего политического надзора он этого добился. Как человеку военному, ему было очевидно, что после артобстрела противник захвачен врасплох, сбит с толку, спешно покидает неудобные позиции, в его рядах начинаются паника и хаос. Следом идет атака конницы. А Бенкендорф был лихим кавалеристом...

Но и позиция Вигеля понятна – сам гражданский чиновник, он не терпел вмешательства офицеров в систему управления. Не поладил с генерал-губернатором Одессы Воронцовым, сетуя, что из его канцелярии, где засели бывшие штабные русского Оккупационного корпуса во Франции, «решения вылетают с такой же скоростью, с которой туда влетают прошения», а сами новоявленные канцеляристы «не могут отличить докладной записки от рапортнички». Мало ли что население довольно – делопроизводственный порядок «страждет».

Бенкендорфа он называл «пустоголовым», голубой мундир «одеждою доносчика, производившей отвращение даже в тех, кто его осмеливался надевать», а III отделение – «черной тучей, облекшей Россию» и не позволявшей «наслаждаться счастьем в первые годы царствования справедливейшего из государей».

Однако трудно было питать «доверенность» к «высшей и низшей» администрации после того вала жалоб, который пошел в Сенат. Они показывали степень коррумпированности чиновников, в первую очередь полицейских и судебных. Место квартального надзирателя, например, приносило ежегодно, помимо скромного жалованья, более 3 тысяч рублей дохода.

Полиция, крайне недовольная тем, что из ее состава вывели Особенный департамент, всячески старалась подмять под себя новое ведомство. Жандармские функционеры обижались и со своей стороны не щадили в отчетах ни Министерства внутренних дел, ни юстиции, где зло «видимо, но ненаказуемо». «Я поседею от этого... – рассуждал Бенкендорф накануне войны с Турцией в 1828 г. – Когда интриги превзойдут меру моего терпения, я попрошу место... во главе какой-нибудь кавалерийской части». Но оставить «интриги позади фрунта» никак не удавалось.

И вот на фоне этих препирательств явилось дело о «Борисе Годунове». Сказать, что оно было для Александра Христофоровича лишним и связанные с ним вопросы решались на колене, – значит ничего не сказать.

«Воля высшего начальства»

После свидания Пушкина с государем Бенкендорф, конечно, согласился приглядывать за поэтом. Кто же отказывает императору? Вероятно, генерал полагал, что с прощенным не будет серьезных хлопот. Он еще не знал, что ему вручают одну большую проблему, для занятия которой следует выделить особый департамент.

22 ноября 1826 г. Александр Христофорович направил Пушкину вежливейшее послание, в котором напоминал, что уже писал к поэту однажды, но не получил ответа. Момент исключительно важный – от него зависели дальнейшие отношения, а они были уже заранее испорчены.

«При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения» впредь представлять все новые произведения до их обнародования «через посредничество мое или даже прямо его императорскому величеству». Из сторонних слухов Бенкендорф должен был заключить, что первое письмо дошло, «ибо вы сообщили о содержании одного некоторым особам». Несмотря на прямую просьбу императора, трагедия была читана, а письмо оставлено без ответа.

Некрасиво получилось. «Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере великодушного к вам монаршего снисхождения», – заключал Бенкендорф. Это была почти угроза.

Подчеркнутая, преувеличенная вежливость в те времена – род оскорбления. Но сам Александр Христофорович свою пощечину уже получил. Его первое письмо от 20 сентября нарочито не заметили. Оставили без ответа. А ведь Бенкендорф теперь занимал не ту должность, чтобы его обращениями манкировали.

Пушкину пришлось извиняться: «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо...» Что за игры? Письмо всегда требует ответа. Даже в наш вульгарный век. А тогда жили люди воспитанные...

Пушкин умел ясно показать, чего хочет и как себя трактует. Отсутствие ответа на письмо Бенкендорфа – жест, который обладал знаковостью. Александр Сергеевич демонстративно не замечал шефа жандармов, подчеркивая, что говорит прямо с царем. В письме Вяземскому 9 ноября рассказано именно о паре поэт – царь: «Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву *о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Если третий и возможен, то только молящий Бога за двух первых. Активная роль для него не предусмотрена. Он, как в любовном треугольнике, – лишний.

Сердце владыки действительно «умилилось», потому что, прочитав ответ поэта про чуждость деловым бумагам, Николай I писал Бенкендорфу, что «совершенно очарован Пушкиным». Человек из другого мира! А они-то, грешные, все про деловые бумаги... При этом на прямое общение с прощенным император не выходил. Хватило одного разговора.

Поэту напомнили: к нему приставлена усатая нянька, с которой отныне предстоит общаться. Чего только не говорили по поводу этой досадной фигуры, вклинившейся между царем и поэтом, «ограничивая добрые намерения первого и стесняя великий талант второго». Называли Бенкендорфа «неизбежным посредником», который предлагал Пушкину царские решения в «холодно-издевательском тоне». Особенно почему-то пеняли за вежливость посланий, как если бы шеф жандармов должен был кричать на Пушкина, топтать ногами и рукоприкладствовать. Оба были светскими людьми, а значит, старались не нарушать приличий.

После второго письма, когда поэт понял, что глава III отделения от него не отстанет – такова высочайшая воля, – Пушкин извинился незнанием, недопониманием и даже тем, что ему «было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями... человека государственного, среди огромных его забот».

Изысканная вежливость в ответ на изысканную же вежливость. И сразу у издателей – М. П. Погодина и С. А. Соболевского – были остановлены уже отданные в печать стихи. Зачем передавал? Думал, что проскочат? Но «такова воля высшего начальства», и Пушкину «уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову».

Могло быть иначе? Николай I сам поставил между собой и вчерашним ссыльным «интервал» в виде шефа III отделения – как бы отодвинул его от себя на расстояние вытянутой руки.

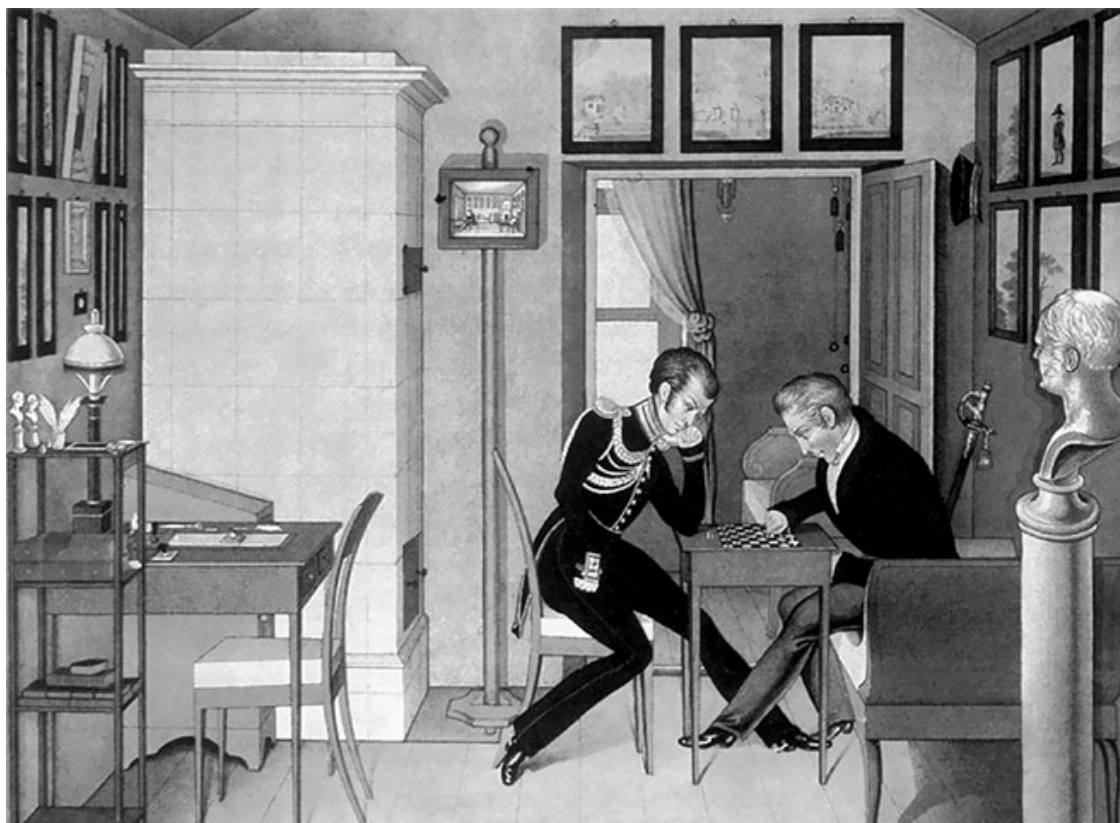
Попробуем понять почему. Прежде всего этикетные тонкости. Государя воспитывали весьма сурово и нарушений субординации он не любил, разве только позволял их сам. В те времена не принято было, чтобы чиновник X класса, как бы того ни хотелось биографам гения, разговаривал с государем прямо. То есть через головы тех, кто стоял на служебной лестнице выше его.

Назначая для Пушкина «куратором» генерала Бенкендорфа – II класс по Табели о рангах, – император уже до невозможности сокращал дистанцию. Это был прямой путь «в чертоги». Картина «Царь – Поэт», такая привычная для сегодняшнего читателя, не существовала в сознании современников. Лишь немногие из них привыкали мыслить «поверх чинов».

Кроме того, Александр Христофорович, хоть и обладал впечатлительным, холерическим темпераментом – французским характером, как тогда говорили, – тем не менее за годы и годы службы научился себя сдерживать. Он умел быть вежлив не только когда хотел, но и когда надо.

Николай I подобной сдержанностью не отличался. Он был гневлив. И даже подчас криклив. Всю жизнь старался удерживать бурный темперамент. Раскаивался в сказанных словах. Но максимум чему научился – извиняться за свое поведение. Ценное для монарха качество, особенно если оно касалось и дежурного камер-пажа, и казака-возницы. Накричал – виноват. Простите.

Но срывать на Пушкина император, видимо, не хотел. А тот вел себя... очень свободно. Вот рассказ об их первом разговоре чиновника III отделения М. М. Потапова: «Поэт и здесь вышел поэтом; ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошло до того, что он, незаметно для самого себя, приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: “С поэтом нельзя быть милостивым!”».



В приемной А. Х. Бенкендорфа. Неизвестный художник

А то что? Сядет на шею?

Этот случай, приводивший в восторг поколения пушкинистов – какая непосредственность! – в глазах современников, людей с детства скованных манерами, – выглядел скандально. Шокирующе.

Показателен случай с В. К. Кюхельбекером, которого 26 октября 1827 г. перевозили в крепость Динабург. По дороге на станции Залазы кибитка остановилась, и старый лицейский друг увидел Пушкина. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили, – писал сам Пушкин. – Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и усаkali».

Фельдъегеря Пушкин напугал не на шутку. Тому не понравились ни поцелуи, ни разговоры друзей. Он велел другим сопровождающим везти арестанта дальше, а сам задержался заплатить прогоны. Тут «г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству... и генерал-адъютанту Бенкендорфу... это тот Пушкин, который сочиняет».

После первой встречи Ф. В. Булгарин заметил, что поэт «дитя по душе». Но дети бывают и лукавыми, и капризными, и драчливыми. Когда Пушкин сказал фельдъегерю, что сам «был посажен в крепость, а потом выпущен», он не просто заврался, а искренне верил в свои преувеличения. Ссылки же на императора и Бенкендорфа имели целью запугать сопровождение Кюхельбекера.

Во время разговора с государем Пушкин сказал, что Вильгельм Карлович ему как брат. Николай I напомнил события на Сенатской, когда Кюхельбекер стрелял в его родного брата – Михаила Павловича. На следствии великий князь Михаил выступил ходатаем за Кюхель-

бекера, прося для него снисхождения. Благодаря его рыцарскому поступку Вильгельма Карловича не повесили. Но и смотреть на Кюхлю глазами Пушкина император не мог.

Чтобы избежать подобных сцен, Николай I и поставил перед поэтом препятствие в виде Бенкендорфа.

«Венец за ним!»

Пушкин уверял шефа жандармов, что посылает ему единственный рукописный экземпляр «Бориса Годунова», и просил вернуть. Теперь следовало ознакомиться с текстом. Но... и императору, и Александру Христофоровичу было некогда. Они скорее просматривали, чем читали.

Между тем многие места после 14 декабря звучали подозрительно.

Вот Самозванец допрашивает пленного о делах в русской столице. Тот отвечает:

Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову – такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюремны битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся, – глядь – лазутчик уж и вьется,
А государь досужею порою
Доносчиков допрашивает сам.

Вот бояре обсуждают порядки при Годунове, и Пушкин говорит Шуйскому:

...он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ли мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.

Монолог царя Бориса, начинающийся словами: «Достиг я высшей власти», – имеет очень характерное окончание:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть...
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда – беда! Как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молоток стучит в ушах упрек...
И мальчишки кровавые в глазах...
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Сказать ли, что у молодого государя были свои «мальчишки кровавые» – целых пять? И не беда, что заговорщики предполагали цареубийство. Он мучился. Хотя и считал себя

правым. Поэтому крик юродивого: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит» – звучал как приговор.

Написанная за полгода до роковых событий, пьеса оказалась по ассоциациям удивительно злободневна.

Была еще одна болезненная тема – призвание на царство несправедливого царя Бориса Годунова, после чего и воспоследовали бедствия Смуты. Возгласы народа: «Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!» или «Венец за ним! он царь! он согласился!» – очень напоминали разговоры времен междуцарствия.

Наследуя не прямо, а через голову цесаревича Константина, Николай, как сам писал, «боялся быть неправильно понятым». То есть обвиненным в захвате короны. Слова изменника воеводы Басманова: «Но смерть... но власть, но бедствия народны...» – прекрасно передавали колебания кануна восстания.

После смерти Александра I Совет под давлением петербургского генерал-губернатора А. М. Милорадовича, вопреки воле покойного императора, высказался за присягу цесаревичу Константину, поскольку «нельзя распоряжаться престолом по завещанию». Эта присяга была принесена, в том числе и Николаем. Но вследствие решительных отказов Константина выехать из Варшавы и принять корону в ночь с 13 на 14 декабря Николай I прочел в Совете манифест о своем вступлении на престол. И он, и присутствующие понимали, что на другой день гладко дело не пройдет. Но выхода не было. Николай уже знал о заговоре. О многом догадывались советники.

Между Петербургом и Варшавой курсировали курьеры, везя в одну сторону мольбы либо принять престол, либо гласно заявить об отречении, а в другую решительные отказы. Ведь и Константин был осведомлен о тайном обществе.

«Я себя спрашивал, кто большую приносит из нас жертву, – рассуждал Николай о себе и Константине, – тот ли, который отверг наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и оставался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, – или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче».

Даже после воцарения, следствия и казней с Константином далеко не все было закончено. Его очень ждали на коронацию. В народе считали, что старший своим присутствием должен «освятить» право младшего.

Между тем цесаревич вел себя вызывающе, и для внимательных наблюдателей было очевидно: каждым следующим шагом он загоняет себя все глубже в угол. Варшавский сиделец не явился на похороны покойного императора. А это уже был скандал. Снова всколыхнулись слухи, будто старший из великих князей не признает Николая, боится ехать в Петербург, ждет ареста...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.